

Как и во всякой большой литературе, в русской литературе существует несколько пород таланта. Есть порода Пушкина и Лермонтова — молодого, искрящегося, чувственного легкокрылого письма, дошедшая до Блока и Есенина; есть аксаковско-тургеневская, вобравшая в себя Лескова и Бунина, необыкновенно тёплого, необыкновенно русского настроения и утраченного уже теперь острого обоняния жизни; их зачатие и вынашивание имеют какое-то глубинное, языческое происхождение, из самого нутра спрятанного в степях и лесах национального заклада. Есть и другие породы, куда встанут и Гоголь с Булгаковым, и Некрасов с Твардовским, и Достоевский, и Шолохов, и Леонов. И есть порода Державина — богатырей русской литературы, писавших мощно и гулко, мысливших всеохватно, наделённых к тому же богатырским запасом физических сил. Сюда нужно отнести Толстого и Тютчева. Здесь же в XX веке по праву занял своё место Солженицын.

Почти всё написанное А.И. Солженицыным имело огромное звучание. Первую же работу никому тогда, в 1962 году, не известного автора читала вся страна. Читала взахлёб, с удивлением и растерянностью перед явившимся вдруг расширением жизни и литературы, перед расширением самого русского языка, зазвучавшего необычно, в самородных формах и изгибах, которые ещё не ложились на бумагу. Приоткрылся незнакомый, отверженный мир, находившийся где-то за пределами нашего сознания, вырванный из нормальной жизни и заселённый на островах жизни ненормальной — тот мир, откуда вышел Иван Денисович Шухов, маленький непритязательный человек, один из тьмы тысяч. И вышел-то на день один из тьмы своих дней между жизнью и смертью. Но этого оказалось достаточно, чтобы многомиллионный читатель обомлел, признавая его и не признавая, обрушив на него лавину сострадания вместе с недоверием, вины и одновременно тревоги.

Вести, литературного характера тоже, доходили из того мира и прежде, но они были разрозненными, прерывистыми, невнятными, как в азбуке Морзе, сигналами, ключом к расшифровке которых владели по большей части побывавшие там. Иван же Денисович, в отпущенный ему день выведенный из барака на работу больным и в работе поправившийся и даже воодушевившийся, ничего от нас не потребовавший, ничем не укоривший, а только представший таким, какой он есть, оказался соразмерен нашему невинному сознанию и вошёл в него без усилий. Вольно или невольно, автор поступил предусмотрительно, подготовив вкрадчивым и тароватым Шуховым, ни в чем не посягнувшим на читательское благополучие, пришествие «Архипелага ГУЛАГ». Без Шухова столкновение с ГУЛАГом было бы чересчур жестоким испытанием. Испытание — читать? «А испытание претерпевать, оказаться внутри этой страшной машины?» — вправе же мы сами себя и спросить. Да, это несопоставимые понятия, существование на разных планетах. И тем не менее испытание собственной шкурой не отменяет «переводного» испытания, испытания свидетельством. Обмеренный, исчисленный, многоголовый и немолчаливый ГУЛАГ в натуральную величину и «производительность» — он и после Ивана Денисовича для многих явился чрезмерным ударом; не выдер-

живая его, они оставляли чтение. Не выдерживали — потому что это был удар, близкий к физическому воздействию, к восприятию пытки, выдыхаемой жертвами. Воздействие «Иваном Денисовичем» было не слабей, но другого — нравственно-го — порядка, вместе с болью оно давало и утешение. Чтобы прийти в себя после «Архипелага», следовало снова вернуться к «Ивану Денисовичу» и почувствовать, как мученичество от карающей силы выдавливает исцеляющее слезоточение.

Сразу после «Ивана Денисовича» — рассказы, и среди них «Матрёнин двор». И там и там в героях поразительная, какая-то сверхъестественная цепкость к жизни и вообще свойственная русскому человеку, но мало замечаемая, не принимаемая в расчёт при взгляде на его жизнеспособность. Когда терпение подбито цепкостью, оно уже не слабеволье, с ним можно многое перемочь. Солженицын и сам, не однажды приговорённый, явил это качество в наипоследнем истяге, говоря его же словом, когда и свет мерк в глазах, снова и снова подниматься на ноги. Л.Н. Толстой словно бы и родился в пелёнках великим. А.И. Солженицыну к своему величию пришлось продирается слишком издалека. «Не убьёт, так пробьётся» — вот это для него, для русского человека! — и давай его бить-колотить по всем ухабам, и давай его охаживать из-за каждого угла, и давай его на такую дыбу, что и небо с овчинку! Вот по такой дороге и шёл к своему признанию Александр Исаевич. Выжил, научился держать удар, приобрёл науку разбираться, что чего стоит, — после этого полной мерой дары во все «ёмкости», никаких норм.

«Матрёнин двор» заканчивается словами, которые почти сорок лет остаются на наших устах:

«Все мы жили рядом с ней (с Матрёной Васильевной. — *В.Р.*) и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит ни село. Ни город. Ни вся земля наша».

Едва ли верно, как не однажды высказывалось, будто вся «деревенская» литература вышла из «Матрёниного двора». Но вторым своим слоем, слоем моих сверстников, она в нём побывала. И уж не мыслила потом, как можно, говоря о своей колыбели — о деревне, обойтись без праведника, сродни Матрёне Васильевне. Их и искать не требовалось — их нужно было только рассмотреть и вспомнить. И тотчас затеплялась в душе свечечка, под которой так сладко и отрадно было составлять житие каждой нашей тихой родины, и вставали они, старухи и старики, жившие по правде, друг после дружки в какой-то единый строй вечной опоры нашей земле.

Кроме этой заповеди — жить по правде, — другого наследства у нас остаётся всё меньше. А этим — пренебрегаем.

У крупных фигур свой масштаб деятельности и подъёмной силы. Не поддаётся пониманию, как сумел Солженицын ещё до изгнания, в весьма стеснённых условиях, собрать, обработать и ввести в русло книги всё то огромное и сжигающее, составившее «Архипелаг ГУЛАГ»! И откуда брались силы уже в Вермонте совладать с горой материала, надо думать, нескольких архивных помещений для «Красного колеса»! Успевая при этом вести ещё публицистическое путеводство для России и Запада, успевая составлять и редактировать две многотомные библиотечные серии по новейшей русской истории! Тут годится только одно сравнение — с «Войной и миром» и Толстым. Солженицына с Толстым роднит многое. Одинаковая глыбастость фигур, огромная воля и энергия, эпическое мышление, потребность как у одного, так и у другого через шестьдесят примерно лет отстояния от исторических событий обратиться к закладным судьбоносным вехам нача-

ла своего века. Это какое-то мистическое совпадение. Огромная популярность в мире, гулкость статей, звучание на всех материках. Один отлучён от церкви, другой от Родины. Помощь голодающим и помощь политзаключённым, затем литература. Оба — великие бунтари, но Толстой создал своё бунтарство «на ровном месте», в условиях личного и отеческого (относительно, конечно) благополучия, Солженицын весь вышел из бунтарства, его в нём взрастила система. Солженицына судьба резко бросала с одной крутизны на другую, у Толстого биография после кавказской кампании взяла тихую гавань в Ясной Поляне и вся ушла в сочинительство и духовную жизнь. Но и после этого: повороты, приближающие их друг к другу. Солженицын в Америке погружается в затворничество, Толстой перед смертью совершает совсем не старческий поступок вечного бунтаря — свой знаменитый уход из Ясной Поляны.

И самое главное: «Лев Толстой как зеркало русской революции» и Александр Солженицын как зеркало русской контрреволюции спустя семьдесят лет после революции.

Редкий человек, ставя перед собой непосильную цель, доживает до победы. Александру Исаевичу такое выпало. Объявив войну могущественной системе, на родине призывая подданных этой системы жить не по лжи, а в изгнании постоянно призывая Запад усиливать давление на коммунизм, едва ли Солженицын мог рассчитывать при жизни на что-либо ещё, кроме идеологического ослабления и отступления коммунизма на более мягкие позиции. Случилось, однако, большее и, как вскоре выяснилось, худшее: система рухнула. История любит сильные и быстрые ходы, на обоснование которых затем приносятся огромные жертвы. Так было в 1917-м году, так произошло и на этот раз.

Боясь именно такого исхода в будущем, Солженицын не однажды предупредил: «...но вдруг отвалились завтра партийная бюрократия... и разгромят наши остатки ещё в одном феврале, в ещё одном развале» («Наши плюралисты», 1982 г.). А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться. Пожалуй, внезапное введение её сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года» («Письмо вождям Советского Союза», 1973 г.).

По часам русской переломной жизни, ход которых Солженицын хорошо изучил, трудно было ошибиться: как за Февралем неминуемо последовал Октябрь, так и на место слетевшейся к власти образованщины, мелкой, подлой и жуликоватой, не способной к управлению, придут хищники высокого полёта и обустроят государство под себя. Всё это было и предвидено Солженицыным, и сказано, но бунтарь, жаждавший окончательной победы над старым противником, говорил в нём сильнее и заглушил голос провидца. «Красное колесо», прокатившееся от начала и до конца века, лопнуло... но если бы красным был в нём только обод, который можно срочно и безболезненно заменить и двигаться дальше!.. Нет, обод сросся и с осью, и со ступицей, то есть со всем отечественным ходом, с национальным телом — и рвать-то с бешенством и яростью принялись его, тело... и до сих пор рвут, густо вымазанные кровью.

Но сказанное надолго опасть и умолкнуть с переменной власти не могло. И ничего удивительного, что многое из относящегося к одной системе, само собой переадресовалось теперь на другую и даже получило усиление — вместе с усилением наших несчастий. Так и должно быть: правосудие борется с преступлением против национальной России, и новое знамя, выставленное злоумышленниками, честного судью не смутит.

Послушаем же — эхо это или живой голос Солженицына:

«Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт и кричит: «Я — Насилие! Разойдитесь, расступитесь — раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает к себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а Ложь может держаться только насилием» («Жить не по лжи»).

«Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падёт» (Нобелевская лекция).

Нет, это не перелицованный Солженицын — всё тот же, клеймящий зло, какие бы ипостаси оно ни принимало.

А вот это совсем любопытно — несмотря на некоторые старые обозначения:

«Один американский дипломат воскликнул недавно: «Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!» Ошибка, надо было сказать: «на советском». Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюров, не русское» («Чем грозит Америке плохое понимание России»).

В точку.

Возвращение Александра Исаевича на многострадальную Родину, начавшееся четыре года назад, окончательно завершилось только недавно, с выходом книги «Россия в обвале» (издательство «Русский путь»), теперь можно сказать, что после 20-летнего отсутствия Солженицын снова врос в Россию и занял по принадлежащему ему нравственному влиянию, а с ним отныне совпадает и угадывание почвенных токов, первое место в России, избрав его в отдалении от всех политических партий, на перекрёстке дорог, ведущих в глубинку, где остается надежда на народовластие, которое понимает он под земством. Опять же: не со всем и в последней книге можно согласиться безоговорочно. Но это отдельный разговор. Это отдельное размышление, и оно снова не обошлось бы без Толстого, который, конечно же, не добивался ни Февраля, ни Октября, но своими громогласными отрицаниями основ современной ему монархической жизни невольно подставил им плечо. Это размышление о подготавливании словно бы самим народом и словно бы вопрекор своим ближайшим интересам великих нравственных авторитетов, чьё влияние и учение согласуется с дальней перспективой отечественной судьбы.

80-летний юбилей А.И. Солженицына — толчок для многих серьёзных размышлений о крестном пути России. Они, разумеется, каждодневны, с ними мы засыпаем и с ними просыпаемся. Но вот наступает однажды день, как этот, приподнятый над роковой обыденностью, в которую засасывает нас всё больше и больше, — и тогда всё видится крупней и значительней. Если рождает русская земля таких людей — стало быть, по-прежнему она корениста, и никаким злодейством, никаким попусанием так скоро в пыль её не истолочь. Если после всех трёпок, учинённых ей непогодой, сумела лишь усилиться и обогатиться на поросль — отчего ж не усилиться и ей и не обратить со временем невзгоды свои в опыт и мудрость?! Есть люди, в ком современники и потомки видят родительство земли большим, чем отца с матерью.

Оттого и звучит она так: Родина, Отечество!